

Николай Михайлович Карамзин

Рыцарь нашего времени



Николай Михайлович Карамзин

Рыцарь нашего времени

*Текст предоставлен правообладателем.
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=2978205*

Аннотация

«...Юные супруги, с милым нетерпением ожидающие плода от брачного нежного союза вашего! Если вы хотите иметь сына, то каким его воображаете? Прекрасным?.. Таков был Леон. Беленьким, полненьким, с розовыми губками, с греческим носиком, с черными глазками, с кофейными волосками на кругленькой головке: не правда ли?.. Таков был Леон. Теперь вы имеете об нем идею: поцелуйте же его в мыслях и ласковою улыбкою ободрите младенца жить на свете, а меня – быть его историком...»

Содержание

Вступление	4
Глава I	6
Глава II	9
Глава III	10
Глава IV,	15
Глава V	17
Конец ознакомительного фрагмента.	18
Комментарии	

Николай Михайлович Карамзин Рыцарь нашего времени

Вступление

С некоторого времени вошли в моду *исторические романы*.^[1] Неугомонный род людей, который называется *авторами*, тревожит священный прах Нум, Аврелиев, Альфредов, Карломанов и, пользуясь исстари присвоенным себе правом (едва ли *правым*), вызывает древних героев из их *тесного домика* (как говорит Оссиан), чтобы они, вышедши на сцену, забавляли нас своими рассказами. Прекрасная кукольная комедия! Один встает из гроба в длинной римской *тоге*, с седою головою; другой в коротенькой гишпанской епанче, с черными усами – и каждый, протирая себе глаза, начинает свою повесть с яиц Леды. Только привыкнув к глубокому могильному сну, они часто зевают; а с ними вместе... и читатели сих исторических небылиц. Я никогда не был ревностным последователем мод в нарядах; не хочу следовать и модам в авторстве; не хочу будить усопших великанов человечества; не люблю, чтоб мои читатели зевали, – и для того, вместо *исторического романа*, думаю рассказать *романиче-*

скую историю одного моего друга. Впрочем, *не любо – не слушай*, а говорить *не мешай*: вот мое невинное правило!

Глава I

Рождение моего героя

Если спросите вы, кто он? то я... не скажу вам. «Имя не человек», – говорили русские в старину. Но так живо, так живо опишу вам свойства, все качества моего приятеля – черты лица, рост, походку его – что вы засмеетесь и укажете на него пальцем... «Следственно, он жив?» Без сомнения; и в случае нужды может доказать, что я не лжец и не выдумал на него ни *слова*, ни *дела*^[2] – ни печального, ни смешного. Однако ж... надобно как-нибудь назвать его; частые местоимения в русском языке неприятны: назовем его – Леоном.

На луговой стороне Волги, там, где впадает в нее прозрачная река Свияга и где, как известно по истории Натальи, боярской дочери, жил и умер изгнанником невинным боярин Любославский, – там, в маленькой деревеньке родился прадед, дед, отец Леонов; там родился и сам Леон, в то время, когда природа, подобно любезной кокетке, сидящей за туалетом, убиралась, наряжалась в лучшее свое весеннее платье; белилась, румянилась... весенними цветами; смотрелась с улыбкою в зеркало... вод прозрачных и завивала себе кудри... на вершинах древесных – то есть в мае месяце, и в самую ту минуту, как первый луч земного света коснулся до его глазной перепонки, в ореховых кусточках запели вдруг

соловей и малиновка, а в березовой роще закричали вдруг филин и кукушка: хорошее и худое предзнаменование! по которому осьми-десятилетняя повивальная бабка, принявшая Леона на руки, с веселою усмешкою и с печальным вздохом предсказала ему счастье и несчастье в жизни, ведро и ненастье, богатство и нищету, друзей и неприятелей, успех в любви и рога при случае. Читатель увидит, что мудрая бабка имела в самом деле дар пророчества... Но мы не хотим заранее открывать будущего.

Отец Леонов был русский коренной дворянин, израненный отставной капитан, человек лет в пятьдесят, ни богатый, ни убогий, и – что всего важнее – самый добрый человек; однако ж нимало не сходный характером с известным *дядею* Тристрама Шанди – добрый по-своему и на русскую статью. После турецких и шведских кампаний^[3] возвратившись на свою родину, он вздумал жениться – то есть не совсем вовремя – и женился на двадцатилетней красавице, дочери самого ближнего соседа, которая, несмотря на молодые лета свои, имела удивительную склонность к меланхолии, так что целые дни могла просиживать в глубокой задумчивости; когда же говорила, то говорила умно, складно и даже с разительным красноречием; а когда взглядывала на человека, то всякому хотелось остановить на себе глаза ее: так они были привлекливы и милы!.. Красавицы нашего времени! Будьте покойны: я не хочу сравнивать ее с вами – но должен, в изъяснение душевной ее любезности, открыть за тайну, что она

знала *жестокую*; *жестокая* положила на нее печать свою – и мать героя нашего никогда не была бы супругою отца его, если бы *жестокий* в апреле месяце сорвал первую фиалку на берегу Свяги!.. Читатель уже догадался; а если нет, то может – подождать. Время снимает завесу со всех темных случаев. Скажем только, что сельская наша красавица вышла замуж *непорочная душою и телом*; и что она искренно любила супруга, во-первых – за его добродушие, а во-вторых – и потому, что сердце ее никем другим не было... *уже* занято.

Глава II

Каков он родился

Юные супруги, с милым нетерпением ожидающие плода от брачного нежного союза вашего! Если вы хотите иметь сына, то каким его воображаете? Прекрасным?.. Таков был Леон. Беленьким, полненьким, с розовыми губками, с греческим носиком, с черными глазками, с кофейными волосками на кругленькой головке: не правда ли?.. Таков был Леон. Теперь вы имеете об нем идею: поцелуйте же его в мыслях и ласковою улыбкою ободрите младенца жить на свете, а меня – быть его историком!

Глава III

Его первое младенчество

Но что говорить о младенчестве? Оно слишком просто, слишком невинно, а потому и совсем нелюбопытно для нас, испорченных людей. Не спорю, что в некотором смысле можно назвать его счастливым временем, истинною Аркадиею жизни; но потому-то и нечего писать об нем. Страсти, страсти! Как вы ни жестоки, как ни пагубны для нашего спокойствия, но без вас нет в свете ничего прелестного; без вас жизнь наша есть пресная вода, а человек – кукла; без вас нет ни трогательной истории, ни занимательного романа. Назовем младенчество прекрасным лужком, на который хорошо взглянуть, который хорошо похвалить двумя, тремя словами, но которого описывать подробно не советую никакому стихотворцу. Страшные дикие скалы, шумные реки, черные леса, африканские пустыни действуют на воображение сильнее долин Темпейских. Как? Для чего? Не знаю; но знаю то, что самый нежный друг детей, хваля и хваля их невинность, их счастье, скоро будет зевать и задремлет, если глазам или мыслям его не представится что-нибудь совсем противное сей невинности, сему счастью.

Однако ж читатель обидит меня, если подумает, что я таким отзывом, хочу закрыть песчаную бесплодность моего

воображения и скорее поставить точку. Нет, нет! Клянусь Аполлоном, что я мог бы набрать довольно цветов для украшения этой главы; мог бы, не отходя от исторической истины, описать живыми красками нежность Леоновой родительницы; мог бы, не нарушая ни Аристотелевых, ни Горациевых правил, десять раз переменить слог, быстро паря вверх и плавно опускаясь вниз, – то рисуя карандашом, то расписывая кистью – мешая важные мысли для ума с трогательными чертами для сердца; мог бы, например, сказать:

«Тогда не было еще «Эмиля», в котором Жан-Жак Руссо так красноречиво, так убедительно говорит о священном долге матерей и читая которого прекрасная Эмилия, милая Лидия отказываются ныне от блестящих собраний и нежную грудь свою открывают не с намерением прельщать глаза молодых сластолюбцев, а для того, чтобы питать ею своего младенца; тогда не говорил еще Руссо, но говорила уже природа, и мать героя нашего сама была его кормилицей. Итак, не удивительно, что Леон на заре жизни своей плакал, кричал и немог реже других младенцев: молоко нежных родительниц есть для детей и лучшая пища и лучшее лекарство. От колыбели до маленькой кроватки, от жестяной гремушки до маленького раскрашенного конька, от первых нестройных звуков голоса до внятного произношения слов Леон не знал неволи, принуждения, горя и сердца. Любовь питала, согревала, тешила, веселила его; была первым впечатлением его души, первою краскою, первою чертою на *белом листе ее*

чувствительности¹. Уже внешние предметы начали возбуждать его внимание; уже и взором, и движением руки, и словами часто спрашивал он у матери: «Что вижу? Что слышу?», уже научился он ходить и бегать, – но ничто не занимало его так, как ласки родительницы, никакого вопроса не повторял он столь часто, как: «Маменька! Что тебе надобно?», никуда не хотел идти от нее и, только ходя за нею, ходить научился.

Не правда ли, что это могло бы иному полюбовиться? Тут есть живопись, и антитезы, и приятная игра слов. Но я мог бы идти еще далее; мог бы прибавить:

«Вот основание характера его! Первое воспитание едва ли не всегда решит и судьбу и главные свойства человека. Душа Леонова образовалась любовью и для любви. Теперь обманывайте, терзайте его, жестокие люди! Он будет воздыхать и плакать; но никогда – или по крайней мере долго, долго сердце его не отвыкнет от милой склонности наслаждаться собою в другом сердце; не отстанет от нежной привычки жить для кого-нибудь, несмотря на все горести, на все свирепые бури, которые волнуют жизнь чувствительных. Так верный подсолнечник не перестает никогда обращаться к солнцу; обращается к нему и тогда, как грозные облака затмевают светило дня – и поутру и ввечеру, – и тогда, как сам он начинает уже вянуть и сохнуть; всё, всё к нему обращается, до последней минуты растительного бытия своего!»

¹ Локк говорит, кажется, что душа рожденного младенца есть белый лист бумаги.

Надеюсь, что один зоил не похвалил бы сего места, особенно ж нового, разительного сравнения чувствительных сердец, которые всегда стремятся к любви, с цветком подсолнечником, всегда клонящимся к солнцу. Надеюсь, что некоторые милые мои читательницы вздохнули бы из глубины сердца и велели бы вырезать сей цветок на своих печатях.

«Конец главе!» – скажет читатель. Нет, я мог бы еще многое придумать и раскрасить; мог бы наполнить десять, двадцать страниц описанием Леонова детства; например, как мать была единственным его лексиконом; то есть как она учила его говорить и как он, забывая слова других, замечал и помнил каждое ее слово; как он, зная уже имена всех птичек, которые порхали в их саду и в роще, и всех цветов, которые росли на лугах и в поле, не знал еще, каким именем называют в свете дурных людей и дела их; как развивались первые способности души его; как быстро она вбирала в себя действия внешних предметов, подобно весеннему лужку, жадно впивающему первый весенний дождь; как мысли и чувства рождались в ней, подобно свежей апрельской зелени; сколько раз в день, в минуту нежная родительница целовала его, плакала и благодарила небо; сколько раз и он маленькими своими ручонками обнимал ее, прижимаясь к ее груди; как голос его тверже и тверже произносил: «Люблю тебя, маменька!» и как сердце его время от времени чувствовало это живее!

Слова мои текли бы рекою, если бы я только хотел войти в подробности; но не хочу, не хочу! Мне еще многое надоб-

но описывать; берегу бумагу, внимание читателя, и... конец главе!

Глава IV, Которая написана только для пятой

Государи мои! Вы читаете не роман, а быль: следственно, автор не обязан вам давать отчета в происшествиях. *Так было точно!*.. – и более не скажу ни слова. Кстати ли? У места ли? Не мое дело. Я иду только с пером вслед за судьбою и описываю, что творит она по своему всемогуществу, – для чего? спросите у нее; но скажу вам наперед, что ответа не получите. Семь тысяч лет (если верить хронографам^[41]) чудесит она в мире и никому еще не изъяснила чудес своих. Заглянем ли в историю или посмотрим, что вокруг нас делается: везде сфинксовы загадки, которых и сам Эдип не отгадает. – Роза вянет, терние остается; столетний дуб, благодетель странников, падет на землю от громового удара; ядовитое дерево стоит невредимо на своем корне. Петр Великий, среди благодетельных замыслов для отечества, хладет в объятиях смерти; ничтожный человек нередко два раза из века в век переходит. Юный счастливец, которого жизнь можно назвать улыбкою судьбы и природы, угасает в минуту, как метеор: злополучный, ненужный для света, тягостный для самого себя живет и не может дожидаться конца своего... Что ж нам делать? Плакать, у кого есть слезы, и хо-

тя изредка утешаться мыслию, что здешний свет есть только пролог драмы!

Глава V

Первый удар рока

Дунул северный ветер на нежную грудь нежной родительницы, и гений жизни ее погасил свой факел!.. Да, любезный читатель, она простудилась, и в девятый день с мягкой постели переложили ее на жесткую: в гроб – а там и в землю – и засыпали, как водится, – и забыли в свете, как водится... Нет, поговорим еще о последних ее минутах.

Герой наш был тогда семи лет. Во всю болезнь матери он не хотел идти прочь от ее постели; сидел, стоял подле нее; глядел беспрестанно ей в глаза; спрашивал: «Лучше ли тебе, милая?» – «Лучше, лучше», – говорила она, пока говорить могла, – смотрела на него: глаза ее наполнялись слезами – смотрела на небо – хотела ласкать любимца души своей и боялась, чтобы ее болезнь не пристала к нему – то говорила с улыбкою: «Сядь подле меня», то говорила со вздохом: «Поди от меня!..» Ах! Он слушался только первого; другому приказанию не хотел повиноваться.

Надобно было силою оттащить его от умирающей. «Постойте, постойте! – кричал он со слезами. – Маменька хочет мне что-то сказать; я не отойду, не отойду!..» Но маменька отошла между тем от здешнего света.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Комментарии

1.

Исторические романы. – Карамзин имеет здесь в виду европейский и русский псевдоисторический роман XVII–XVIII вв., в частности, роман Хераскова «Нума, или Процветающий Рим» (1768).

2.

...ни слова, ни дела... – «Слово и дело» – юридическая формула, означавшая в XVII–XVIII вв. сведения о политическом преступлении.

3.

После турецких и шведских кампаний... – Турецкая война (1737–1739); шведская война (1743–1744).

4.

Хронографы — летописцы.